

Переписчик

Автор:

Чайна Мьевиль

Переписчик

Чайна Мьевиль

Странная фантастика

В удаленном доме на вершине холма одинокий мальчик становится свидетелем глубоко травмирующего события. Пытается сбежать, но безуспешно. Оставаясь наедине со своим все менее вменяемым родителем, он мечтает о безопасности, о друзьях в городе внизу, о побеге. Когда незнакомец стучится в дверь, мальчик чувствует, что дни изоляции подходят к концу. Но кто дал этому человеку полномочия вести записи? Какова истинная цель его вопросов? Он друг? Враг? Или нечто совсем иное? Наполненный красотой, страхом и неизвестностью, «Переписчик» – пронзительное и захватывающее исследование памяти и личности.

Чайна Мьевиль

Переписчик

China Mieville

THIS CENSUS TAKER

Copyright © 2016 by China Mieville

Серия «Странная фантастика»

© К. Эбауэр, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Посвящается Мику

Как и все подобные вытянутые приземистые дома, этот строился не для кого-то, а против. Против леса, против моря, против стихий, против целого мира. В каждом имелись кровельные балки, двери и ненависть, как будто в этих краях она была одним из необходимых инструментов архитектора и тот говорил ученику: «Не забудь сегодня захватить с собой вдоволь ненависти».

Джейн Гаскелл

«Где-то в солнечном краю»

МАЛЬЧИК С КРИКАМИ НЕССЯ ПО ТРОПИНКЕ с холма. Этим мальчиком был я. Он выставил перед собой руки, словно окунул их в краску и собирался прижать к бумаге, нарисовать картинку, но вместо краски его покрывала грязь. Крови на ладонях не было.

Мальчик – думаю, лет девяти – бежал быстрее, чем когда-либо прежде, и спотыкался, и разгонялся, и раз за разом едва не падал на окружавшие тропинку камни и заросли утесника, но я удерживался на ногах и продолжал путь в тень своего холма. Воздух был влажный, но небо не обронило ни капли. Позади меня клубилась холодная пыль, впереди улепетывало прочь мелкое

зверье.

Позже Сэмма сказала, что жители города увидели это облако задолго до моего появления. Убедившись, что это не просто ветер, она вместе с другими отправилась к водокачке за мостом на западе, к окраинным домам, дабы приглядеться поближе. С того дня при каждой встрече Сэмма по возможности рассказывала мне всякие истории, в том числе и о том, как я спускался с холма.

– Я знала, что это ты. Перемазанным чертом несешься с горы. Говорю им, это мальчик. И другие вторят. Пока я наблюдала, ты, должно быть, целую милю одолел, все бежал и бежал и ни разу не замедлился. Промчался мимо ногтей.

«Ногтями» я прозвал чахлые заросли белого кустарника, а Сэмма подхватила.

– Прямо из каждой трещины на холме – ты наверняка слышал, – как бесы воют на тебя из-под земли. – Когда она вот так говорила, я тарачился на нее молча и неотрывно. – Мы слышали, как ты приближаешься, вопя точно раненая чайка или вроде того, и я сказала: «Да, это мальчик!»

И я приближался. Свернул с тропинки там, где склон становился суше, каменистей и круче, и рванул к месту сбора толпы. Сверху я видел все пространство между самыми дальними стенами и городским мостом. От судорожных рыданий меня вывернуло, и я побежал дальше, громкий, грязный, мимо проволочной фабрики и стекольного завода, мимо амбаров и магазинов, по земле перед ними, устланной старой соломой и черепками всякой всячины, разбитой внутри, прямо к булыжникам и бетону того самого моста, где ждали горожане.

Среди них были дети: те, кого крепко держали родители. А я надрывался, как младенец. Я пытался вдохнуть.

Я там единственный шевелился, все остальные лишь глазели на мою фигурку, поднимающую пыль, пока кто-то – не знаю кто – не устремился мне навстречу и остальные, устыдившись, не ринулись следом, включая Сэмму.

Они бежали, протягивая ко мне руки, как и я к ним.

– Глядите! – воскликнул кто-то. – Боже, только взгляните на него!

Я поднял, как тогда думал, окровавленные ладони, чтобы их увидели все.

И закричал:

– Моя мать убила моего отца!

* * *

Я из верховья. Выше нашего дома простирался только крутой участок с пучками травы и рыхлым грунтом, затем шли кремниевые плиты ступенями, будто корявый зиккурат, а дальше уже самый пик. И ни единой тропки. Выше нас на холме никто не жил. Хотя наш дом стоял примерно на том же уровне, что жилища нескольких наблюдателей за погодой, отшельников и ведьм, которых можно было назвать нашими соседями, но, чтобы добраться от нас до них, пришлось бы хорошенько прогуляться, и мы никогда к ним не навещались, как и они к нам.

Каждый из трех этажей моего дома был в меньшей степени готовности, чем предыдущий, как будто строители теряли запал по мере отдаления от земли. На нижнем располагались кухня с гостиной, мастерская отца, коридор и угловая деревянная лестница. На среднем – две маленькие, наспех законченные спальни, отца и матери, и каморка между ними, где спал я.

И на верхнем этаже порывы что-либо разделить окончательно иссякли и осталось лишь единое пространство, по которому гулял сквозняк, проникающий сквозь недоделанные стены и щели между оконными рамами и штукатуркой.

Мне нравилось взбираться по крутой лестнице и играть в одиночестве в этой полной ветра комнате. Все остальные стены в доме или побелили, или покрасили охрой из местной почвы, но две стены чердака оклеили обоями с повторяющимся узором. Переплетенные цветы и пагоды меня удивили. Я не мог вообразить, чтобы их выбрали мать с отцом. Я решил, что обои были там еще до появления родителей, и вдруг представил дом в те времена, без них, отчего горло сковали тошнота и волнение.

Лампочки и приборы, имевшиеся на кухне и в отцовской мастерской, черпали ток из генератора, который мы иногда включали. В спальнях мы использовали свечи. На окнах верхнего этажа не было занавесок, и каждый день свет пронизывал комнату, простираясь с одного конца в другой. Обои выцвели за годы тесного общения с солнцем. В одном из углов, низко-низко, решив, что там это останется секретом, я рисовал животных возле пагод и среди стеблей.

Дом мой стоял в конце тропы, вжимаясь в каменный выступ за спиной, будто испуганно пятился от бегущего вниз склона. Между домом и этим спуском протянулась ржавая проволочная ограда, из-за которой я наблюдал за животными – дикими кошками и собаками смешанных пород, даманами, скудным потомством сбежавших коз и овец, – что прогуливались и шныряли меж валунами и кустами. У кого-то из зверей была своя территория, которую я в конце концов узнавал. Узнавал, что посягаю на нее, а кто-то из них возвращался неоднократно, будто заинтригованный мною. Злющая желтовато-серая певчая птица, облюбовавшая определенные деревья. Или рыжая псина размером со щенка, но с настороженными повадками старой собаки.

Оттуда я мог различить черные городские крыши. Я пинал камни – маленькие, чтобы проскальзывали через металлические звенья, – и смотрел, как они скачут в заросли или дальше, до самого низа, как я представлял, в заполненный водой овраг под зданиями.

Город был разбросан по склонам двух холмов и мосту между ними. И, как и все на этих холмах, мы считались горожанами, хотя жили так далеко от улиц, насколько это возможно, чтобы все еще оставаться правдой. Городские законы распространялись и на нас тоже. Сбежав с холма в тот день, я не искал правосудия, но правосудие нашло меня.

ЛЮДИ ГРУБОВАТО УТЕШАЛИ МЕНЯ.

– Что ты видел, мальчик? – спрашивали они. – Что стряслось?

Я только и мог что рыдать.

– Твоя мама что-то сделала? – уточняла женщина, опустившись на колени и стискивая мои плечи. – Сделала что-то с твоим папой? Расскажи нам.

Она сбивала меня с толку. Пыталась поймать мой взгляд и сбивала с толку своими словами, потому как они мало походили на то, что я видел, чему стал свидетелем. И все же, когда она их произнесла, я понял, что она лишь повторяет сказанное мною. Мальчик, я, сказал, что его мать убила его отца.

До сих пор, думая о случившемся тогда в нашем доме, первым делом я вспоминаю мамины руки: лицо ее спокойно, взгляд резкий, пронзающий, а руки – с ножом – опускаются вниз жестко. Отец закрывает глаза, и рот его блестит, рот полон крови, кровь покрывает бледный цветочный узор на стенах, и мальчик должен все это осмыслить для начала, у меня нет выбора, я не могу об этом думать, и всякий раз требуется мгновение, чтобы все переварить и подготовиться к ответу. Дескать, нет, конечно, все случилось иначе, и лица пострадавшего я не видел, ну или что это точно был не мой отец.

Я пытался исправить то, что сказал, а женщина повторила, но мог лишь сглатывать.

Я слышал ритмичный звук. А когда поднялся на верхний этаж дома, где гулял сквозняк, там уже были люди. Женщина на мосту смотрела на меня, и я сосредоточился и понял, что нет, вряд ли я видел, как мама убивает отца. Я мысленно вернулся назад. Ее лицо, лицо моей матери, опустошенное и усталое, да, но если приглядеться – именно оно блестит. И не ее руки опускаются, а руки отца.

– Нет, – произнес я. – Мой отец. Кто-то. Мою мать.

Это отец стоял спиной ко мне. Преодолевая дрожь и перебои в дыхании, я сконцентрировался на этой мысли. Он держал кого-то. Я не мог вспомнить ее лицо.

Я смотрел на спину отца. Не на спину матери. И видел кровь, кровь, которую все еще представляю на своих руках. Мне она запомнилась очень яркой и при этом темной, потому что только-только попала под лучи света, в то время как окрашенные ею обои уже совсем выцвели.

Я кричал, пока отец не повернулся. Вот что я увидел: он задыхался от напряжения.

Он уставился на меня, и я сбежал.

ИНОГДА ПО УТРАМ МАМА УЧИЛА меня буквам и цифрам. У нее было немного книг, но она раскрывала передо мной одну из имеющихся, садилась за стол напротив и, молча указывая на слова, ждала, пока я с горем пополам их произнесу. Она поправляла меня по необходимости и порой нетерпеливо подсказывала, озвучивая слова, с которыми я не справился. То был иной язык, не тот, на котором я пишу сейчас.

Моя мать была мускулистой женщиной с темной-серой кожей, что собиралась складками на лбу и вокруг глаз. Когда не возилась с землей, она оставляла свои длинные светлые волосы свободно обрамлять лицо. Я считал маму красавицей, но после ее смерти если кто и отзывался о ней кратко каким-нибудь прилагательным, то, как правило, использовал слово «сильная» – или, однажды, «статная».

В основном все мамины дела сводились к заботе о заросшей земле вокруг нашего дома. Она разделила этот покатый сад на вроде бы бесформенные участки, обозначив границы камнями. А заметив мое недоумение, пояснила, что следует линиям рельефа.

Мама собирала и высушивала принесенные ветром ветки и листву, чтобы позже скормить их очагу или генератору, когда нам понадобится электричество. У нее было платье для улицы, в котором она хранила разнообразные семена. Я тихонько сидел на одном из пригодных камней и наблюдал, как она тянется к своим многочисленным карманам, чтобы посеять пригоршню зерна во вскопанную землю. Меня ее случайный подход порой тревожил, на что мама только прохладно улыбалась.

Однажды она выпрямилась, оперлась на свою мотыгу и посмотрела прямо на меня:

– Прошлой ночью я фантазировала, как посажу здесь кусочки мусора и буду поливать их, растить. Выращу свалку. И под «фантазировала» я подразумеваю «мечтала», а не «видела сон».

Мама скручивала страшноватые фигурки из проволоки и дерева и расставляла их вокруг, дабы отпугивать птиц. Отец тоже такие мастерил, у него они были поприятнее, но что тех, что других вороны не особо-то страшились, и нам с мамой частенько приходилось выбегать из дома, размахивая руками и вопя, и большие птицы хоть на время оставляли семена в покое – впрочем, скорее не испуганно, а с ленивым презрением.

В этой тонкой пыльной почве мама умудрялась вырастить гибриды и диковинки, а также бобы, тыквы и прочее. Кое-что мы съедали, кое-что она продавала или обменивала на разные вещицы у владельцев магазинов на мосту или в городе. Остальное она меняла на новые семена, которые вновь опускала в землю.

* * *

В основном мы не покидали свой участок, как и все, кто обитал над городом: тропинка под нами и все колеи разрезали холм поперек, от одной высокой точки к другой, и осторожно петляли, дабы излишне не приблизиться к любому из жилищ. Да, иногда, очень редко, чуть повзрослев и ощутив некую потребность в непослушании, потребность исполнить какой-то долг, я мог долго брести по нашему суровому краю и близко подобраться к другому жителю верховья, поселившемуся чуть ниже. И наблюдать из укрытия кустов, смотреть на сгорбленных женщин, сестер, что разводят в сарае свиней, или на жилистого мужичка, который в собственном дворе, не видимом со второго холма, четко выполняет свои задачи: калибрует датчики старых машин и смазывает маслом их подвижные части. Эти другие дома очень походили на мой, вызывая смутное подозрение, будто они – слова для этой мысли я подобрал много позже – из одного набора.

Считалось, что от нашей двери до святой старухи или человека, живущего в пещере, не более часа ходьбы, и я помню, как однажды увидел мелькнувший коричневый плащ, будто кто простыней встряхнул, но была ли та ткань выброшена на костлявые плечи, я не знал. Даже не мог сказать, действительно ли это видел.

С тех пор я наблюдал за настоящими аскетами, как они смиряют плоть, в каких берлогах живут, и теперь знаю, что тогда видел фальшивого отшельника. Если вообще что-то видел. Если было что видеть.

Чаще всего наши ближайшие соседи выдавали свое существование дымом от костров, когда готовили еду или сжигали мусор. Мы от своего избавлялись иначе.

МОЙ ОТЕЦ БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ, бледным и словно вечно перепуганным и двигался рывками, как будто опасался попасться. Он делал ключи. Заказчики стекались к нему из города и просили то, что обычно просят люди, – любви, денег, что-то открыть, узнать будущее, вылечить животных, починить вещи, стать сильнее, заставить кого-то страдать, спасти кого-то, научиться летать, – и отец воплощал это в ключах.

Меня во время его встреч с клиентами выставляли из дома, но я частенько прокрадывался через двор и сидел под окнами мастерской, подслушивая и даже подглядывая. Копавшаяся в земле мама с волосами, укрытыми желтым шарфом – самой яркой вещицей, что я когда-либо на ней видел, – не раз замечала, как я съезживаюсь у окна, но никогда не пыталась помешать.

Пока люди сбивчиво вещали о своих нуждах, отец делал заметки. На грубой коричневой бумаге графитом или чернилами он набрасывал контур зубцов и ложбинок ключа и по мере рассказа вносил исправления. Проводив клиента, он порой часами рисовал, почти всегда заканчивая заказ за один присест, даже если это означало работу до рассвета.

На следующий день отец запускал генератор, возвращался в мастерскую, припиливал готовый рисунок к столу и, зажав в тисках металлическую рейку, медленно и осторожно, часто останавливаясь, чтобы свериться с изображением, разрезал ее визжащим электрическим лезвием, отчего лампы на первом этаже на каждые несколько секунд разреза тускнели. Или ручными пилами с натянутой стальной проволокой, к которым мне тоже запрещалось прикасаться. Несмотря на худощавость, отец был сильным. Он отсекал, создавая форму.

За верстаком он держал стеклянные банки с горстями разномастной пыли. Были там и насыщенные цвета, но в основном – разные оттенки коричневого и серого. Отец погружал пальцы в одну из банок за раз и натирал готовый ключ, полировал его порошком и собственным потом. Я никогда не видел, чтобы он пополнял сосуды – пыли уходило совсем чуть-чуть.

Работа выматывала его куда сильнее, чем могло показаться. Закончив, он поднимал свое творение, очищал, задумчиво разглядывал. Ключ сиял, а отец был покрыт грязью.

Несколько дней спустя заказчики возвращались за тем, за что заплатили – хотя в основном не оловянными и бумажными городскими деньгами, которые в нашем доме водились редко. Иногда отец сам спускался и относил ключи. Я никогда не видел одного клиента дважды.

Когда мама готовила, она почти всегда молчала, полагаю, мысленно планируя свой сад. Она и не искала, и не избегала моего взгляда. Когда же ужином занимался отец, он расхаживал по крохотной кухне, передавал мне продукты и улыбался, словно старался вспомнить, как это делается. Он нетерпеливо глядел на нас с мамой – она не смотрела в ответ, а я смотрел, хоть и тоже без слов, – и пытался расспрашивать нас о всяком и рассказывать нам истории.

* * *

– Лучше всего жить здесь, – как-то сказал мне отец, – где воздух хороший, прозрачный, не слишком тяжелый. Внизу такого не найдешь.

Обрывочное воспоминание. Тогда он сообщил, что мы вместе спускаемся с холма по поручению, которое я уже забыл. Я еще не осознавал, но мы с отцом редко оставались вот так, один на один, мама всегда маячила на периферии большинства наших взаимодействий. Я гулял сам по себе, впрочем, она мне не мешала, как и он, и иногда, заметив отца, мог даже пойти следом, хоть и старался не попадаться ему на глаза.

В иные дни кое-что побольше и замысловатее птиц проносилось над нами в этом прозрачном воздухе – шумно, суетливо, слишком высоко, чтобы как следует рассмотреть. Если в этот момент я попадался отцу на глаза, он снова пытался улыбаться и, казалось, хотел что-то объяснить, но объяснений ни разу не последовало.

Я рос под постоянными горными ветрами, что шептались со мной и трепали мою темную челку. За их голосами слышались слабые случайные вскрики животных и рокот упавших камней. Иногда доносился шум двигателя или треск далеких

выстрелов.

Я сталкивался с отцовской яростью еще до убийства, когда его и мамино лица слились для меня воедино. Я называю это «яростью», но в те моменты он был невозмутим и неподвижен и выглядел так, будто отвлекся и глубоко задумался.

Когда мне было семь, он на моих глазах убил собаку. Не нашу. Мы никогда не заводили живность.

Я прохлаждался в мамином саду, взобравшись на распутившееся дерево с торчащими из земли спутанными корнями. Помню, что день был едко-яркий. И помню, как «что-то» разглядывало меня, а потом устремлялось вдаль, к границам плоского чистого неба. Вот он я: мальчик, что поглаживает листья, не зная, где его мать, и наблюдая за отцом.

Мужчина сидел и курил на выступе ниже. Не подозревая о соглядатае.

Маленькая рыжая псина появилась из ниоткуда или же спустилась сверху. Жила она, полагаю, как и прочие брошенные полудикие животные на холме, воровством, попрошайничеством, удачными находками и охотой.

Она приблизилась к моему отцу и раблепно припала к земле с нерешительной надеждой. Отец не шелохнулся, сигарета его наполовину истлела.

Собака зигзагами, осторожно ступая меж камнями, подошла еще ближе. Мужчина протянул руку, и животное замерло, но он потер большим и указательным пальцами, и собака, принюхавшись, вновь поползла вперед. Она облизала человеку ладонь, а тот схватил ее за шкуру. Псина брыкалась, но не сильно: мужчина знал, как держать, чтобы она не паниковала.

Он потушил сигарету о камень. Затем оглядел его, но, неудовлетворенный, решил найти другой, получше. Наблюдавший за всем мальчик задрожал под порывом ветра. Собственное сердце будто било его изнутри. Отец мальчика осмотрелся.

Я знал, что он собирается сделать. Это первое воспоминание о том, как отец кого-либо убивает, но я помню, с какой уверенностью за ним наблюдал.

Непоколебимой, так что теперь гадаю, вдруг и до того случались подобные акты жестокости, о которых позже я просто позабыл.

Мужчина высоко поднял выбранный кусок кремния и ударил им собаку. Опустил камень ей на голову, и псина даже не гавкнула. Он бил ее снова и снова, а мальчик вжимался в дерево и смотрел, прикрывая рот дрожащей рукой, чтобы не издать ни звука. Как собака. У моих пальцев был привкус смолы.

Закончив, отец поднялся и оглядел долину. Стояло холодное лето, все вокруг зеленело – за густой листвой было не видать ни реки, ни глубокой расщелины под городом, ни даже моста. С болтающейся в руке мертвой псиной отец побрел вверх по склону.

Я умирал от ужаса, но, когда он скрылся за поворотом, все же слез с дерева и пошел следом, таясь и дожидаясь, пока отец снова не покажется в поле зрения. Показался, но меня не увидел. Он шагал на запад, а я полз следом, прячась за выступами, в кустах и рывинах. Я двигался за отцом извилистой тропой, точнее, тропы там как раз не было, но он явно уже ходил этим путем раньше. Собачий хвост волочился по земле.

Отец потревожил канюков. Медленно взлетев, они закружили над ним.

Мы поднялись к зеву пещеры, не видимому от нашего дома и с дороги. Я никогда раньше не приходил сюда с этой стороны, потому удивился открывшемуся зрелищу, но пещеру узнал. Я не должен был гулять здесь без родителей и все же иногда гулял.

Перед входом, словно низкий забор, растянулся странный ровный ряд острых каменных зубцов, и когда мать с отцом брали меня с собой, то всегда подбадривали, прежде чем сами переступали через эту грань. Затем поворачивали ручку неизменного фонарика, и оранжевый свет озарял туннель. Но даже без света, даже когда прибежал сюда один и не осмеливался заходить далеко, я видел яму.

В компании родителей я продвигался вперед медленно, нащупывая дорогу палкой или пальцами ног, словно каменный пол был полон ловушек. Или полз на четвереньках, перед каждым движением трогая землю ладонями, точно черный провал мог напасть на меня из засады.

В этот раз я цеплялся за иссеченный ветром пенек и наблюдал, как отец шагает внутрь холма. Я был достаточно близко и видел, как он застыл, глядя в нашу мусорную яму.

Она пересекала туннель, но дальше, за провалом, в темноте он продолжался. Отец включил фонарь, и слабый луч озарил для меня длинный коридор. Трещина была метра два в ширину.

Каждые три-четыре дня, всю мою жизнь, родители притаскивали сюда наши мешки и коробки с мусором и скидывали их в эту дыру. Отец иногда позволял помогать и держал меня, пока я бросал что-нибудь вниз. Можно было услышать, как бионеразлагаемые отходы, пластиковые упаковки (утяжеленные камнями и костями), битое стекло и всякий бытовой мусор, который мы не могли повторно использовать, врезаются в отвесную стену, отскакивают, разламываются на куски и падают в тишину. И никакого звука соприкосновения с дном.

Провал всегда пестрел пятнами – остатки пищи, которые мать решила не пускать на удобрение сада, в полете размазывались по камню. И пока родители избавлялись от мусора, я вжимался в стену пещеры, охваченный и замороженный страхом, оттого что воображал, будто могу по краешку перебраться через дыру и отправиться дальше в глубь холма.

Отец стоял у самого обрыва. Он долго всматривался вниз, в черноту, затем отвел руку назад, качнул вперед и разжал пальцы, так что мертвая собака взмыла над мусорной ямой, на миг замерла в воздухе и устремилась вниз по дуге настолько идеальной, будто для этого все и затевалось.

Собака родилась, чтобы упасть. Камень миллионы лет назад раскололся, чтобы принять ее.

Мой отец смотрел вниз так сосредоточенно, словно совершил все это, словно убил, потому что должен был увидеть падение животного.

ОН МОГ ЗАМЕТИТЬ МЕНЯ ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ на обратном пути, но вряд ли заметил. Конечно, я очень старался держаться подальше... хотя позже понял, что, наверное, даже если б не удалось, ничего бы не изменилось. На дрожащих от слабости ногах я шел за отцом, ибо это казалось не так страшно, как остаться

в одиночестве на холме, рядом с мусорной ямой и мертвой псиной, когда солнце сядет.

Идти за отцом на кухню не хотелось, но на улице похолодало, и в дом вела единственная дверь, и у нас не было сарая или амбара, чтобы там спрятаться, а бетонный корпус генератора оказался слишком тесным, без единой щелки, куда я мог бы втиснуться. Оставалась только туалетная будка, где меня бы обязательно нашли. В закатном свете я замер на краю сада, да так и стоял, точно пустившее корни дерево. Я смотрел на дом, на вечернее солнце, озаряющее чердачное окно, и не слышал ничего, кроме собственного дыхания и ветра. А потом сумерки загнали меня к ожидавшим отцу и матери.

Я промчался мимо них, задержав дыхание и не поднимая взгляда, и взобрался на чердак, в угол к своим рисункам. И пристально рассматривал их, изучал, пока окончательно не стемнело.

Выманил меня отец, сказав, что пора ужинать. Пришлось с ним встретиться. Пришлось пройти мимо него по лестнице. Внизу за столом сидела мама, прикрыв глаза и чуть запрокинув голову, чтобы видеть меня даже на возвышении. Она смотрела на меня с мрачным спокойствием, и теперь я думаю, что это была хорошо замаскированная тревога.

ВСЕ ВОКРУГ СЛОВНО ВЫМЕРЛО, но надо мной в светящемся кольце люстры парит ошалевшая от холода оса. Она падает и вновь взлетает зигзагами в сопровождении верного конвоя теневых ос, который то рассеивается, то сходится на потолке в идеальный строй. Одна лампочка разбита, потому тени не окружают вялую осу-первоисточник, а будто обходят ее по флангу, чтобы вырваться вперед и показать дорогу.

Никак не заставлю себя убить насекомое.

Оказавшись в этой комнате, я сразу переместил стол к окну, чтобы писать как сейчас – наблюдая, как город погружается во мрак и переключается на неон. Я здесь почетный гость, потому два охранника за дверью стерегут мой покой, пока я работаю. По крайней мере, так сказали принявшие меня хозяева, столь вежливо и убежденно, что я задумался, верят ли они сами в свои слова.

Я тружусь уже много часов. Охранники там, наверное, уснули, убаюканные звуками из комнаты. То ли еще будет.

По-прежнему пахнет дымом. Я тяну время. Пока не стемнело, я провел крошечный опрос отсутствующих: четверо за меня (я записал «видела море; резал металл; украл отмененный приказ; крутил петли на веревке») и еще одна, может, за меня, а может, и против – моя предшественница. Я сжег список.

Это моя вторая книга.

Первую я начал три года назад, в далекой стране, а третью годом позже. Наконец пришла пора начать писать вторую.

– Рождай только то, что прочтут, – сказал мне управляющий. – Каждое записанное слово записано, чтобы быть прочтенным, а если его не прочли, то это провал, неудача. Такие слова как гусеницы, погибшие до преобразования. У тебя будет три книги.

Итак, моя первая книга – книга чисел. Списки и расчеты, и для наибольшей эффективности я записываю их шифрами. Есть множество коротких обозначений, и теперь, зная их все, я больше себя не проверяю. Знаками можно записать все: килограмм и тонну, вдову, типографа, поколение, вора, есть знаки для валюты, верфи, доктора, неопределенности и чтобы отмечать неясные моменты, к которым я должен вернуться. Первая книга – для всех, хотя никто не хочет ее читать или просто не знает как.

Третья из трех моих книг – для меня.

– Одну читай только сам, – так сказал мне управляющий. – Записывай в нее секреты. Но ты никогда не уверишься наверняка, что больше никто ее не прочтет. Это риск, и именно в нем суть третьей книги.

Предупреждая меня, он поднял палец, будто считал до одного.

Еще он сказал:

– Ты напишешь ее не потому, что ее никто не сможет найти, а потому, что, не написав, заплатишь слишком дорого. А если вдруг когда-нибудь найдешь чужую третью книгу, сам решай, как поступить. Можешь и прочесть, но нужды в том нет. Для тебя там ничего не будет. Если бы я такую нашел, то сжег бы ее, но читать бы не стал и тебе бы не отдал. А вот попадись мне чья-то вторая книга... что ж, конечно, я бы поделился с тобой. Вторая книга для читателей. Только никогда не угадаешь, когда они появятся и появятся ли. Эта книга для историй, в ней нет места шифрам. Впрочем, – управляющий вновь поднял палец, привлекая все мое внимание, – в ней ты также можешь делиться секретами и оставлять послания. Можешь говорить открыто, а можешь прятать их в словах и буквах, в порядке строк, в композиции и ритмах.

Он сказал, что вторая книга – это спектакль.

Моя третья книга – блокнот, который помещается в руке. Он уже на четверть заполнен мелкими символами, хранящими мои секреты.

Первая книга – наш общий с управляющим грессбух, куда мы вносим рабочие расчеты. Порой мы вкладываем меж страниц новые листы с дополнениями и правками.

Моя вторая книга – коробка с бумагами.

– Пиши, как хочется. Называй себя «я», «он», «она», «мы», «они» или «вы», и ты не солжешь, хотя можешь рассказывать две истории сразу. Унаследуй от кого-нибудь вторую книгу, чтобы ее продолжить, и побеседуешь с тем, кто уже оставил в ней свой след. Пиши обрывками и на полях.

Да, здесь есть бумаги с тех времен, когда эта история была начата. Не мной.

«Сегодня мы увидели большого зверя, никого громаднее я еще не встречала, – прочел я в письмах кого-то очень юного, и по этим частям мира, оставленного мне моей рано развившейся предшественницей, я выучил ее родной язык лучше, чем свой, по крайней мере, письменный. – Пока мы путешествуем, я учусь».

Есть и другие фрагменты: впечатления серьезного ребенка; разрозненные сцены некоего сказания, которое невозможно восстановить; обрывочные описания, и некоторые со мной с тех пор, как я сумел их прочесть, к ним я все время

возвращаюсь... «На воздушной железной дороге живут потрепанные люди, у них улиточки глаза; вода в этих краях вязкая».

По словам управляющего, прежде чем записи стали моими, бо?льшая часть была потеряна. Я сравнил эту книгу с первой, пролистав от конца до начала в поисках статистики упомянутого города с вязкой водой или людей на воздушной дороге. Я гадал, можем ли мы вернуться в одно из этих мест, чтобы я проверил детали и все классифицировал, но как раз этого делать было не нужно. И все же порой края, в которых мы оказывались, возвращали меня к фразам из записей предшественников: кремниевый свод перекликался с описанием «луноподобного серого здания», а длинные дома на сваях напоминали «не ронять вещи в грязь». Словно босс иногда вел меня по проторенному пути – по рассеянности или потому что работа не завершена, – и однажды мы все же доберемся до вздыбившихся позабытых рельсов, где живут изгои.

Из ранних записей второй книги предпоследняя – их легко отличить по более строгому и взрослому почерку – это примечания к катехизису. Я точно знаю, потому как там есть заголовок: «Примечания к моему катехизису».

«Надежда», – сказано там. Затем перечеркнуто, и что же это была за надежда? Потом написано «Ненависть» и вновь перечеркнуто. А потом все заново, и автор собирает слова в чудны?е четкие строки и заботливо, будто младенца, преподносит читателю.

«Надежда Такова, —

гласит катехизис, и тут же: —

Подсчитай Весь Народ. Раздели По Группам».

А ниже мешанина из нацарапанных, забракованных, переделанных, записанных и переписанных, упорядоченных и, наконец, принятых строк.

Вот и все, что у меня есть из самого начала истории: обрывки, заметки и катехизис, законченный начисто и оставленный для меня. Он на самой последней исписанной странице. И именно ее читатель видит первым делом. Ее нарочно положили наверх, катехизис открывает книгу.

Я думал, что понял его, когда смог прочесть, но, наверное, только теперь наконец действительно понимаю. Если так, то я должен решить, что делать. Начну с ответа, изложив нечто важное, что узнал.

«Перед

Ключом Не Устоит Никакая Преграда».

Моя вторая книга рождается быстро. Самая шумная из трех. Я не стану писать ее от руки. Пальцы быстро стучат по клавишам, и моя вторая книга грохочет.

К МОМЕНТУ ВСТРЕЧИ С ТЕМ, КТО ПОЗЖЕ станет его управляющим, мальчик был еще мал и наивен, но благодаря урокам матери не совсем уж невежественен.

Иногда она приносила домой из города что-нибудь новенькое почитать. Каталоги зерновых и сельскохозяйственных машин, инструкции по очистке металлов и альманахи – или то, что от них осталось после вырывания страниц с неверными прогнозами и бесполезными советами. Все на официальном языке, на котором я говорил, пока рос, и на котором теперь не пишу. Сложенные вырезки из иностранных газет, спрятанные или оставленные меж страниц в качестве закладок, мы игнорировали.

Моя мама изменяла поэзию слов, уныло их растягивая, чтобы показать мальчику, как звучат буквы. Позже человек, который станет его управляющим, усовершенствовал эти знания, заставив мальчика вслух читать бесконечно тоскливые тексты и спрашивая, что тот понял.

Управляющий учил его, что слова со временем меняются на одну или несколько букв, а порой и целыми корнями: «мочь» становится «мощью», «светопись» – «фотографией». В конце концов человек даровал мальчику другой язык, и,

вернувшись, он узнал из тех вырезок о грандиозных чужеземных войнах.

Он всегда подозревал, что его отец умеет читать и писать, хоть как-то, и подозрения эти все крепили. Уже давно, когда детская любознательность только зародилась, мальчик нашел спрятанные меж досками туалетной будки карточки – маленькие порнографические фотографии, с обратной стороны исписанные убористым почерком, но тогда он был слишком мал, чтобы что-то прочесть. И так и не узнал, отец ли их подписал, или от кого-то получил такими, или просто нашел, а может, они вообще не его. Старые камеры требовали долгой выдержки, потому раскрашенные вручную мужчины и женщины лежали друг на друге в неестественных и причудливых похотливых позах. Мальчик убрал карточки обратно в щель, а потом они исчезли.

Он понятия не имел, что его мама получает от компании отца. Они жили вместе, проходили мимо друг друга каждый день и немного общались при необходимости без недовольства и злобы, но и, насколько мальчик видел и помнил, без удовольствия и интереса. От отца веяло сдержанным отчаянием.

Мама мальчика, казалось, всегда знала и не одобряла, когда его отец убивал. Это порождало в ней холодное и тревожное отвращение. Тогда мальчик ее опасался, но в редкие минуты, когда на лице отца появлялось безразличное пустое выражение, жаждал торопливой и неловкой защиты, которую предлагала мать.

* * *

Став свидетелем убийства собаки, я как никогда прежде боялся остаться наедине с отцом. Но за месяцы страх, каким бы сильным он ни был, теряет остроту. Отец относился ко мне все с той же взволнованной рассеянностью, что и всегда.

Он дни напролет пропадал в мастерской. А когда поднимался на средний этаж, я ложился на холодные доски чердачного пола и слушал их с матерью приглушенные голоса. Слов различить я не мог, но, казалось, они говорили с приязнью, которая порой немного напоминала нежность.

Люди все заказывали ключи. Когда их доставлял отец, он всегда ходил один.

Когда с холма спускалась мама, один раз из трех она брала с собой меня.

* * *

В центре города находился мост. Вдоль его западного края тянулись черные перила, на которые можно было облокотиться, разглядывая листву и скалы, холмы и реку. С другой стороны выстроились каменные здания, теперь укрепленные деревом, бетоном и железными балками. Когда-то мост был жилым, но некий указ поставил на этой практике крест, и в развалинах между магазинами мигом обосновались беспризорники.

Строить здания на мосту – позор. И мост не желает столь позорной славы. Если бы он мог выбирать себе форму, то не выбрал бы никакой, обратившись незаметным соединительным звеном между двумя частями города над рекой или дорогой, или клубком железнодорожных путей, или карьером, или вел бы от острова к острову, а то и к континенту. Мост мечтает, чтобы женщина, стоящая на одной стороне ущелья, шагнула вперед, будто готовая умереть, но тут же ступила на землю с другой стороны. Мост лишь немногим лучше отсутствия моста, но горизонт его непрерывен, что уже само по себе позорно. И все же кто-то воздвиг здания на этом мосту, привлекая внимание к его существованию и неудачам. Самонадеянность, вызывавшая во мне трепет. Где ж еще могли поселиться эти дети?

Банду хорохористой ребятни терпели, покуда воровство их не бросалось в глаза, а то и привлекали к грязной работе, так что лавочники даже получали от их существования пользу.

Наш город был небольшим узлом на маршруте нищенствующих торговцев, потому иногда удавалось приобрести неожиданные товары, овощи не чета жестким, растущим на склоне холма, иноземные безделушки и ткани поразительных расцветок. Странствующие купцы ставили вагончики перед лучшими домами, торговались, пили и рисовались, рассказывая всякие истории. Их представления всегда собирали небольшие толпы зрителей, и пока родители внимали, дети во время затишья в болтовне пялились на меня. Даже моя мать наблюдала за спектаклем торговцев и мне разрешала. И я вечно покупался на их разглагольствования об «изящном бурачнике» или «шнеке, который мне просто необходим, чтобы копать ямки под столбы».

Те, кто знал мою мать, относились к ней с настороженной вежливостью. Когда она подходила к вагончику, я молча прятался за ее юбкой, а купцы опасливо здоровались и могли спросить о моем отце, на что мама моргала, затем тщательно подбирала выражение лица, кивала и ждала.

- Передайте ему мои благодарности за ключ, - могли ответить ей.

В нескольких поворотах к востоку от странствующего базара мясники из мясного квартала порой выставляли куски экзотических животных и помечали их не словами, а фотографиями или нарисованными картинками. Так я узнал, что там продается жираф - по желтоватому портрету на гряде сушеного мяса. А однажды мы забрели на нереально огромный склад, полный полок с соленой рыбой, что доставляли из ближайшего города - с побережья, где бы оно ни было, - и дрожащих генераторов и подключенных к ним холодильников, забитых серыми трупами крупных обитателей морей. И я, знавший лишь агрессивных костлявых рыбешек из горных ручьев да мелкое, пойманное на охоте зверье, благоговейно замер перед стеклянными резервуарами - такими большими, что и меня бы вместили. Их за немислимые деньги доставляли на бог весть какой рынок, только внутри был не я и не какой-либо другой человек, а морская вода с клубками черных водорослей, полипами и огромной морской звездой. Все это вяло ползало по дну, цепляясь за камни, словно пестрые руки.

В мясном квартале росло мало деревьев, будто почва меж камнями на их вкус была слишком кровавой, но в других местах они попадались на каждом шагу - низкие, чтоб брнчать ветвями по провисшим электрическим проводам, и вечно грязные благодаря повозкам, животным и двигателям, что орошали их экскрементами и дымом.

К юго-востоку от обиталища мясников чей-то передний двор с кучей запчастей и промасленных тряпок пересекала железная изгородь, и всякий раз я надеялся, что мама поведет меня по этому пути, ибо в покореженном металле виднелся срез давно умершего дерева, которое будто бы тянулось к торчащему из каменных плит пеньку - собственным мертвым корням. Очевидно, дерево росло и пробиралось через забор, плотно охватывая собою прутья, пока хозяин не взбеленился и не срубил его, оставив только ту часть, которая вцепилась намертво. И, шагая мимо, я всегда прикасался пальцами к слившимся воедино коре и железу.

Дети с моста частенько ошивались там, приглядываясь ко мне. Собравшись у пенька, они затевали игру со странными движениями, будто кому-то поклонялись. Мне даже казалось, что они чувствуют руками пропавший ствол, словно это особый навык городских детей – лазить по прозрачным деревьям.

Мама как-то открыла ворота, и я с тревогой наблюдал, как она поднимает с земли испачканный металлический болт. После мы шли в запутанные переулки ближе к оврагу, где властвовала архитектура, а не зелень. Здания там стояли под наклоном, будто строились с учетом окружающей растительности, которая потом умерла, оставив древовидные пустоты в городских стенах. Я прошмыгивал в эти укромные уголки и стоял в нежных объятиях кирпичей, а мама ждала.

Вдоль самой громкой торговой улицы, слишком крутой для повозок и закопченной дымом из мастерских, тянулись небольшие баньняны. С ветвей свисали лохматые лианы, у самой земли затвердевая, точно корни, и раздирая мостовую. Местные жители следили за нами, спустившимися с холма, из спрятанных под ветвями лачуг, откуда торговали сигаретами и конфетами. Упираясь в крыши и стены, свисающие лианы тоже твердели прямо по контурам магазинов, так что, когда некоторые разорились и сгнили, сами деревья стали открытыми спереди будками. И туда мальчик тоже забирался, дабы постоять под сенью спутанных жил, расплзающихся все дальше, будто не веря, что наконец-то им не мешает никакой металл. И я все думал, что если долго не шевелиться, то в итоге и меня оплетет с ног до головы, превратив в столп.

Дети с моста шли за мной.

Я старался особо не оглядываться, но знал, что шумно-хулиганистую и бесстрашную на вид банду в подрезанной взрослой одежде возглавляют мальчик и девочка. Я их точно не боялся. И порой осторожно наблюдал за ними, зачарованный их непостижимостью.

Денег у меня не было, и мое лицо не вызывало у торговцев желания бесплатно угостить меня конфетами. А мама, ошеломленная яркими свертками, свисающими с потолка лачуг, смотрела вокруг с таким выражением, что мне отчаянно хотелось ради нее быть старше.

Один изможденный худой человек и вовсе поселился в лачуге под баньяном. Он лежал на продавленном матрасе, сунув под голову набитый мешок и прикрыв рукой глаза, а вокруг валялся разномастный хлам: бумага, керамические черепки, остатки пищи и неопознанный мусор. Мужчина походил на павшего воина. И грязь, казалось, въелась в него настолько, что линии на лице напоминали письма.

Подле него стояла зеленая пятилитровая бутылка, и внутри ее что-то дергалось. Я разглядел листья, среди которых бил крыльями мотылек. К стеклу была прислонена рукописная табличка с мольбой о подаянии – плата за просмотр. И вдруг по дну бутылки как безумная закружилась пузатая серая ящерица размером больше, чем моя рука, и я отпрянул.

Когти с легким скрежетом заскользили по стеклу, но горлышко оказалось слишком узким – даже голова рептилии не пролезла бы.

Я ринулся догонять маму, а догнав, заглянул в ее сумку. Она уже обменяла принесенную с собой еду на другую, и где-то под овощами дребезжал новый мусор вроде того болта, что она захватила с металлического двора.

Раздался свист, и мы подняли глаза. На подмостках, что поддерживали какие-то развалины, стоял мальчик-заводила из банды беспризорников. Остальные ждали внизу. Он отпустил балку, за которую держался, легко перепрыгнул на другую и, раздраженно переступив с ноги на ногу, уставился на меня. Мальчик был низковат для своего возраста – если я правильно его оценил, – немногим выше меня, но крепок, силен и уверен в своем теле. Он снова позвал, но мы не знали, как реагировать и что ответить.

Мама перевела взгляд с детей на меня:

– Хочешь поиграть?

Она словно просила, чтобы я помог ей разобраться. Хотел ли я поиграть?

– Поиграй с ними, – сказала мама.

И, заверив, что найдет меня на закате, пошла прочь. Я вскрикнул от ужаса и увязался следом, но мама подтолкнула меня обратно к детям и повторила наставления.

Я наблюдал, как она уходит. Дети приблизились – наверное, видели, что она указала на них.

В тот первый раз они продолжили свои игры на расстоянии крика от меня, следя, чтобы расстояние это особо не увеличивалось. Они играли для меня. А когда я, расстроившись, стал искать маму, высокая сбитая девчонка, вторая из заводил, что-то рявкнула, предупреждая остановиться.

Мы друг для друга стали зрителями и актерами. И я увяз в этой театральной шайке так основательно, что, наконец увидев в конце улицы маму под брызгами света уличных фонарей, осознал: она уже давненько ждет. Она стояла с закрытыми глазами, слушая жужжание лампочек и позволяя мне самому ее найти.

Я в тот момент рыдал над очередным безжалостным виражом игры детей, и они что-то бормотали в ответ – заботливо, но презрительно.

Они называли меня «верхотой». Я их никак не называл.

* * *

Девочка – Сэмма. Мальчик – Дроб. Именно они раздавали указания всей малолетней банде.

Я быстро узнал их имена, потому как во время прогулок остальные порой выкрикивали «Сэмма!» или «Дроб!» и гоготали и улюлюкали, будто это не имена, а ругательства, а произнесшие их такие плохие и отважные.

Моя мать с детьми никогда не заговаривала. Но из отстраненной любезности, оставляя меня и отправляясь по своим делам, она убеждалась, что мы с ребятами друг друга заметили.

Они боролись, воровали, раздавали приказы, а я редко мог выдать из себя больше, чем несколько слов, и те шепотом. Даже когда приказы напрямую касались меня и даже когда я повиновался.

- Бросай бутылку в плакат! Ну же, верхота! Шикарно! Прямо в букву «А»!

Я их робко обожал.

Сэмме, наверное, было раза в два больше, чем мне, лет четырнадцать, а Дробу чуть меньше. Они могли как дружить, так и встречаться, хотя я никогда не видел, чтобы они целовались. А может, они вообще были братом и сестрой. Мясистая неторопливая Сэмма на голову возвышалась над нервным и быстрым Дробом, но лица их – темные, угловатые, с густыми нависшими бровями – словно вырезали из дерева по одному лекалу. Черные волосы оба почти начисто сбрасывали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/chayna-mevil/perepischik>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)